

*А. К. ЧЕРНОГЛАЗОВ\**

## КАЗУС КЛЯКСЫ

*Аннотация:* На примере известного исторического анекдота автор пытается показать связь между возникновением субъекта и феноменом незнания, который рассматривается как присущий нам способ бытия-в-мире. Одновременно незнание выступает как этический принцип, противостоящий любым манипулятивным социальным практикам и определяющий те условия, когда знание должно уступить место вере.

*Ключевые слова:* субъект, «Облако незнания», слово, знание, вера.

*A. K. CHERNOGLAZOV*

## THE CASUS OF BLOT

*Annotation:* Taking advantage of a popular historical anecdote the author attempts at demonstrating the connection between the emergence of the subject and the phenomenon of unknowing considered as a mode of our being-in-the-world. On the other hand, unknowing is shown to be an ethical principle strongly opposed to manipulative social practices of all kinds and specifying the conditions where knowledge has to give place to faith.

*Key words:* Subject, «Cloud of Unknowing», logos, knowledge, faith.

---

\* *Черноглазов Александр Константинович* — филолог, переводчик с английского, немецкого и французского языков, в том числе «Семинаров» Жака Лакана, лауреат премий Андрея Белого (2009) и Мориса Ваксмахера (2012).

«Мы пришли на почту... Найдя чистый бланк, Осип Мандельштам отошел в угол комнаты к конторке и начал писать. Через несколько секунд я услышал его жалобный возглас:

— Павел Николаевич!

— Осип Эмильевич? — вопросительно произнес я.

— Подойдите сюда!

Я оставил очередь, подошел. Осип Эмильевич кончиком пера показал мне расплывшуюся букву Я, и растерянно, как бы застенчиво спросил:

— Ведь это уже не Я?

— Да, это уже клякса».

*Из дневника П. Лукницкого*

История кляксы, которую я должен для начала вкратце пересказать, в филологических кругах широко известна, так как героем ее является Поль-Луи Курье, прославленный французский сатирик, памфлетист, переводчик и эллинист эпохи Реставрации. О жизни его, необыкновенной и полной приключений, написаны многочисленные статьи, книги и очерки, а обстоятельства его смерти дали сюжет для снятого вскоре после мировой войны фильма. Что касается меня, то я, увы, впервые обратил на него внимание, услышав замечательный доклад Всеволода Владимировича Зельченко, прочитанный им в 2021 году на кафедре классической филологии Санкт-Петербургского университета. Посвящен он был эпизоду в жизни Курье, которому он и стал поначалу обязан своей известностью, — истории с поставленной им (нечаянно?) кляксой.

Историю эту можно найти во множестве источников, в том числе в Википедии, где она подробно и со вкусом изложена, поэтому я скажу лишь о том, что поразило в ней лично меня.

Дело в том, что Курье, артиллерийский офицер наполеоновской армии, душой был предан классической филологии, которой занимался очень серьезно. Сбежав после битвы при Ваграме из действующей армии, Курье обосновался во Флоренции, охотясь за находившимися там рукописями Ксенофонта, над чьим переводом он в это время трудился. В числе переплетенных вместе с текстом Ксенофонта рукописей оказался и текст *Дафниса и Хлои* Лонга. И тут ждет нашего героя нечаянная радость — настоящее чудо! Дело в том, что во всех известных рукописях повести Лонга существовала лакуна, о содержании которой можно было только гадать. И вот, Курье обнаруживает, что

в рукописи, находящейся у него в руках, этой лакуны нет — он оказывается первым и единственным читателем считавшегося пропавшим отрывка. Курье переписывает его, сообщает о своем открытии хранителям библиотеки и продолжает работать над рукописью. Но тут-то и происходит нечто ужасное: во время работы, уже закрывая рукопись, он ставит на ее страницу, ровно на то место, где находился новонайденный текст, огромную чернильную кляксу! Попытки вывести ее известными тогда средствами только ухудшают дело — восстановление пропажи становится невозможно. Курье оказываются меж двух огней: итальянцы обвиняют его в намеренной порче рукописи и грозятся повесить, французы вспомнили о его дезертирстве и грозят расстрелом. В конце концов, выйдя сухим из воды, он публикует рукопись с заполненной им лакуной в оригинале, а затем во французском переводе, стилизовав собственный перевод отрывка под старофранцузский перевод остального текста, выполненный Амио еще в XVI веке.

Курье, разумеется, отрицал, что поставил кляксу сознательно, но вопрос об этом так и остался невыясненным до сих пор. Здесь мне остается лишь отослать читателя к захватывающему расследованию, проведенному Всеволодом Зельченко в его докладе. Несомненно, однако, одно: мотивы у Курье действительно были. Не случайно отказался он до издания текста передавать кому-либо свою транскрипцию. Ведя первоначально переговоры с редактором, он все же издает текст сам, на свои средства, — очевидно, что он не желает ни с кем делиться своим открытием, которое яростно отстаивает за собой в полемике с хранителем библиотеки, Дель Фуриа. «В Греции, — пишет он, — мне должны бы ставить алтари». Впоследствии, когда Дель Фуриа написал в изданном им памфлете о «нашем открытии» (на что у него были, надо сказать, определенные основания), Курье решительно возразил ему: «Наше открытие! Вы сказали “мы” там, где должно было стоять “Я”».

Итак, в этом все дело. Там, где был текст, нечто вполне предметное, с чем мог ознакомиться каждый, объективная истина, или, как говорят англичане, *hard fact*, возникает Я его первооткрывателя. Я, репрезентированное в данном случае черной кляской. Она становится портретом субъекта, его, как теперь принято говорить, аватарой. Вот он, этот портрет субъекта, — того, чего нет в природе (с. 187).

Клякса не принадлежит к предметному миру, она лишена формы. Она принадлежит, казалось бы, к тем вещам, о котором Платон сказал бы, что



Испорченная П.-Л. Курье страница флорентийской рукописи «Дафниса и Хлои», воспроизведенная в меморандуме Доменико Валериани в гравированном варианте, 1809

у них как, у остриженного ногтя, нет эйдоса. Они дают, конечно, простор для фантазии — в которые и предлагает пуститься, в шутку, автор доклада, сравнивая ее с гомеровским героем в доспехах, — но занятие это праздное: очертания ее произвольны, дело чистого случая. Это — всего лишь бесформенный сгусток тьмы. Интерес к ней, понятное дело, притягивает лишь одно-единственное обстоятельство — за ней скрывается некое знание, некий текст. Текст, правда, нам известен — ведь прежде, чем исчезнуть под кляксой, он был скопирован. Но если, как велика вероятность, клякса была поставлена с умыслом, можем ли мы транскрипции доверять? Чего добивался автор, сначала скрыв текст, фактически уничтожив подлинник, а затем опубликовав транскрипцию? Судя по приведенным в докладе Зельченко фактам, ему важно было сохранить приоритет в опубликовании текста и славу его первооткрывателя. Неслучайно его процитированная мною только что фраза так напоминает знаменитую фразу Фрейда о цели психоанализа: «Где было “оно” должно стать “я”». Не этого ли как раз и добивается наш герой? Вместо безличного, нивелирующего «мы», должно явиться и громко заявить о себе Я субъекта, то есть он сам. Эту привилегированную позицию как раз и дает ему клякса, окружающее истину «облако незнания». И в самом деле: до появления кляксы содержание текста было предметом знания — его мог прочесть, зная язык, любой. Теперь, под покровом кляксы, оно стало предметом веры. Прямого доступа к истине теперь нет — остается лишь верить или не верить тому, кто был ей свидетелем. Он стал единственным, уникальным носителем определенного знания — знания, получить которое можно лишь от него, через его слово.

Конечно, клякса могла быть поставлена им в силу простой небрежности, но это ничего не меняет: у него сохраняется привилегированный доступ к истине. К тому же, как научил нас Фрейд, далеко не всякая случайность непреднамеренна. Субъект существует и в бессознательном — клякса вполне могла быть произвольным проявлением бессознательного желания. Так или иначе, несомненно одно: в объективной реальности — в данном случае, тексте Лонга — явился некий фрагмент, ключ к которому дает только слово. Клякса, лишенная своего эйдоса, не принадлежащая к миру форм, чистый сгусток чернил, оборачивается манифестацией, материализацией в мире объектов самого Курье, его Я. Более того, — тем единственным, с помощью чего надеется он это Я сохранить. С появлением этого случайного, бесформенного пятна — будь

то сознательным или бессознательным — заявил о себе в мире «объективной» науки субъект как таковой — инстанция, которая, как мы видели, переключает наше восприятие реальности из режима знания в режим веры.

Наша клякса оборачивается, таким образом, метафорой субъекта — инстанции, которая, скрывая определенный сегмент реальности, не позволяет познать его непосредственно, но требует доверия, доверия своему слову. И метафора эта нам хорошо знакома — у нее библейские корни. Кто, как не библейский Бог, «сделал тьму покровом своим» (Пс. 17.12)? Кто, как не Он, говорил с Моисеем из облака на горе Синай? Именно из этого облака, этого мрака, вынес вступивший в него Моисей слово Божие, слово, записанное на скрижалях Завета и ставшее для народа, которому вход во мрак был заказан, предметом веры. Что представляет собой это облако, как не огромную кляксу, за которой стоит Бог Библии, Бог ревнитель — этот субъект по преимуществу, Бог, чья природа скрыта от нас окружающим Его мраком и доступна лишь в Его слове?

А что такое Христос Нового Завета, как не воплощенное Слово, световидный мрак, видевший которого «видел Отца»? И здесь, в Новом Завете, Бог оказывается доступен нам лишь через Слово. Кеносис Слова, Его воплощение, не делает его менее сокровенным, — скорее, наоборот: именно воплощенным оно более, чем когда-либо, нуждается в вере — свидетельство, которое приносит Христос своим крестным страданием, ни в коем случае не является «доказательством», — соединяя божественную природу Христа с человеческой, оно эту божественную природу, скорее, скрывает, чем обнаруживает. «Вéдомой», познанной, становится во Христе не божественная природа, а божественная любовь — именно о ней призваны свидетельствовать Его смерть на кресте.

О том, что Христос, являясь в светоносном облике, остается погруженным в божественный мрак, говорит нам и ранняя христианская иконография. Достаточно взглянуть, к примеру, на мозаику Преображения в апсиде церкви святой Екатерины монастыря на Синае — едва ли не первое изображении этой сцены, послужившее образцом для всей ее последующей иконографии. Христос предстает на ней в мандорле, сиянии овальной формы, темнеющем по направлению к центру, так что ее внутренняя полоса, расположенная к фигуре Иисуса ближе всего, оказывается иссиня-черного цвета. Тем самым гора Фавор символически отождествляется здесь с Синаем, а сам Христос — со Словом Божиим, являющимся из тьмы. Мрак, окутывающий божественную природу

и делающий Бога предметом веры, стал центральным образом христианской мистики — достаточно вспомнить, к примеру, знаменитое «Облако незнания», этот анонимный шедевр средневековой английской духовной литературы.



Мозаика Преображения Господня монастыря св. Екатерины на горе Синай

Автор ее, неизвестный английский клирик конца четырнадцатого столетия, говоря о непознаваемости Бога для человеческого ума, описывает ее как лежащее между человеком и Богом облако. Пытаться проникнуть в него, рассмотреть, что за ним скрыто, опасно — человек, который на это осмелится, говорит автор трактата, сойдет с ума, станет жертвой духовного заблуждения или дьявольского обмана. Чтобы избежать этого искушения, он рекомендует человеку создать другое облако, уже не между Богом и собою самим, а между собою и сотворенным миром. Это последнее зовется у него «облаком забвения». Оно, это облако, не позволяет человеку применить к Богу свои собственные представления о вещах материальных или духовных, говорить о нем на том языке, которым описывает он тварный мир.

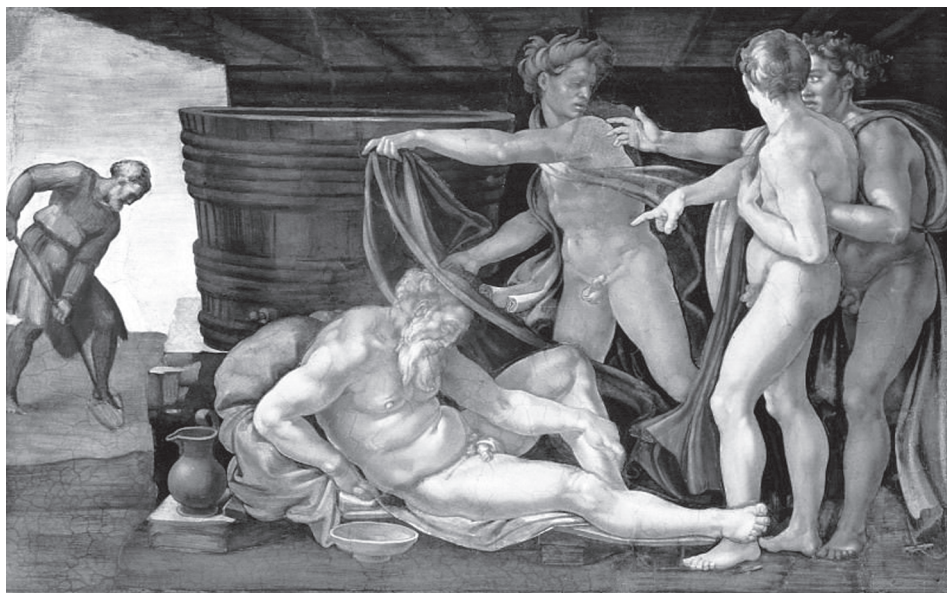
Наши отношения с Богом окружены облаком незнания и целиком определяются им. Наши усилия проникнуть в Его природу тщетны. Однако, не постигая Его природу, мы знаем, благодаря воплощению и крестной смерти Христа, что Он любит нас и взыскует нашей ответной любви. «Бог непостижим лишь для нашего ума, но не для нашей любви», пишет анонимный автор «Облака незнания». Мы любим его, зная о Нем одно: что он любит нас и за нас принял смерть. «Полезно, а то и поучительно бывает порой размышлять о доброте Бога и Его достоинствах, — пишет наш анонимный автор, — но лучше забыть о них, лучше окутать их облаком забвения. И делать нужно одно, — продолжает он, — пытаться прорвать облако незнания острыми стрелами вождеющей любви и ни за что любовью этой не поступаться».

Но та же метафора, применимая к Богу, применима и к человеку. Он тоже, как видели мы на примере нашего исторического анекдота, окружен облаком незнания, — оставаясь объектом познания, он становится, как мы видели, подобно Богу, субъектом слова. Однако если библейский Бог не подлжит познанию в принципе, то облако незнания, которым окутывает себя человек, рукотворно, искусственно. По сути дела, это — плод культуры. Человеку приходится, как мы видели, тщательно оберегать это облако, сохранять его, его культивировать. Только скрывшись за ним, может он рассчитывать на любовь и человеческое признание. Именно его, признания этого, и добивался, судя по всему, будь то безотчетно или сознательно, трогательный герой нашей истории, поставив на открытый им текст печать своей личности, сделав его своим исключительным достоянием.

Каким неприглядным, даже смешным, представляется поведение нашего персонажа, пытающегося создать секрет там, где его нет, и добыть себе этим «богатством несправедливым» славу первооткрывателя, получить на истинную монополию! Окутывая себя искусственным мраком, мы не уподобляемся Богу, а лишь пытаемся присвоить себе достоинство, присущее лишь Ему. Фальшивый ореол тьмы оборачивается дьявольским наваждением, маревом пустого тщеславия. Ведь и Он не скрывается от нас, а, напротив, открывает Себя: библейская история — это история не сокрытия, а откровения. Облако незнания — это не одежда, в которую кутаемся из опасения или стремления к славе мы сами; это — покров, в который мы доверительно и целомудренно и бережно облакаем друг друга, подобно тому, как прикрыли срам Ноя его благочестивые сыновья. Посмотрим на фреску плафона Сикстинской капеллы,



где изобразил Микеланджело сцену опьянению Ноя. Как контрастирует на ней указующий жест Хама, обличающий отцовскую наготу, с благочестивой стыдливостью Сима и Иафета, отводящих от нее взгляды и целомудренно простирающие над ней покров! Этика кляксы как раз и требует от нас этого целомудрия: не сводить ближнего к предмету познания — познания, которое дает власть над ним и возможность им так или иначе манипулировать, — а любовно, внимательно, доверительно вслушиваться в его речь. На место бесстыдно обнаженного, лишенного покровов незнания фаллоса должен заступить логос; бессловесное желание — дать место любви.



Микеланджело Буонарроти. Опьянение Ноя. 1508–1512. Сикстинская капелла, Ватикан

Современная нейрофизиология говорит о том, что мы принимаем свои решения бессознательно и отдаем в них себе отчет лишь доли секунды спустя, задним числом. Кроме того облака, которое делаем мы покровом собственного тщеславия, есть, таким образом, и другое — то, что скрывает нас от себя самих. Мы не знаем, да и не можем знать подлинной причины наших поступков, а придумываем их задним числом. Знает ли Дюрица, персонаж «Пятой печати» Золтана Фабри, почему соглашается он ударить избитого и распятого

полицией человека? Из трусости? Но мы знаем, что на попечении его находятся дети нескольких жертв салашистского режима, которым без него суждено погибнуть. Иными словами, он может сказать себе и говорит, по-видимому, что делает это ради них. Но подлинной причины своего поступка не только нам, но и ему узнать не дано — его окружает то облако, о котором я говорю, облако, отделяющее действие от движущих им внутренних механизмов. Попробуем представить себе, что облако это исчезло, что мы знаем о бессознательно принятом нами решении и его мотивах. Не превратимся ли мы в существ, чье сознание лишь пассивно регистрирует то, что мы делаем? Описывая наши действия, слово уже не было бы их орудием, утратило бы свою перформативную составляющую. Мы не смогли бы тогда, по выражению знаменитого английского философа Джона Остина, «do things with words», перестали бы быть словесными существами. На деле, впрочем, представить себе такую ситуацию изнутри невозможно — это незнание, это черное пятно, скрывающее от нас собственное решение, и задает как раз способ нашего бытия в мире.

Зато вполне можно представить себе ситуацию, когда мы, имея непосредственный контакт с телом другого, получив, скажем, доступ к его мозгу, можем заранее знать о принятых им решениях и влиять на них, соответственно, не через слово, а путем прямого воздействия на его психические механизмы. Пусть такая перспектива покажется фантастической, принципиально она возможна. Иными словами, не в силах снять облако незнания с нас самих, другого мы этого покрова можем лишиться, что дает безграничные возможности манипулировать его сознанием в его же, а, главным образом, в наших собственных интересах. Оставшись, казалось бы, людьми сами, мы, проникнув к психике другого с заднего хода, лишим его этой привилегии, сделаем марионеткой собственных, причем скрытых от нас самих, решений. Другие уже не станут для нас загадкой — единственной загадкой останемся для себя мы сами.

Иными словами, облако незнания, скрывающее от нас нашу собственную психику, присуще нам, казалось бы, по природе, поскольку мы не можем расшеять его, не утратив при этом способ своего бытия. В библейской перспективе дело выглядит, однако, иначе: Бог предвидит наши действия, они Ему известны заранее. И только скрывая их от нас, окутывая их облаком незнания и обращаясь к нам и направляя нас своим словом, дает Он нам пространство свободы, делает нас людьми. То, что нам принадлежит с нашей, земной точки зрения, по природе, оказывается даром Его благодати: мы остаемся собой

лишь постольку, поскольку Он «забывает» о том, что знает и милостиво поддерживает нас от Себя на расстоянии слова.

Его отношение к нам как раз и должно стать нашей собственной этикой. Именно оно призвано лечь в основу нашего отношения к ближнему. Облако незнания, которым Он окружает нас, это — облако Его благодати. И облака этого, которого Он не лишает нас, не должны мы лишать и нашего ближнего. Мы не должны, иными словами, лишать его того дара, который сделал Бог его и нашей природой. Благодать, которую ему дает Бог, Он дает ему через нас. Дает всякий раз, когда, не пытаясь «познать» ближнего, мы любовно склоняемся перед ним, оказывая доверие его слову. И пока мы делаем это, этика наша, верим мы в Бога, или же нет, остается религиозной — принадлежа природе, мы вводим в нее нечто ей не присущее: благодать слова.

Этика, таким образом, начинается с целомудрия, с доверия слову. «Сколько раз можно прощать человека, — спрашивали Иисуса, — до семи ли раз?». «До седмижды семидесяти, — отвечал Он». Мы знаем, что ближний обманул нас множество раз, и любая наука о нем, любой опыт, основанный на научном, да и просто личном, опытным, знании, подскажет, что он обманет нас снова. Но как только мы на этом основании отказываем ему в прощении, он становится в наших глазах предметом — объектом, чье поведение мы предсказываем, как предсказывает ученый траекторию движущегося тела. Лишь оказывая доверие его слову, не обнажая, опираясь на свое знание, его срам, продолжаем мы видеть живущий в нем образ Божий. Поэтому и призывает Христос прощать ближнего до седмижды семидесяти раз, то есть бесконечно: не изгонять его нагим, лишенным покрова, во внешний, предметный мир, а бережно окружать, как делаем мы это с самим Богом, «облаком незнания», погружая в «облако забвения» все то, что его объективирует, опредмечивает. Но призывая нас поступать так, Он поступает так Сам, — зная все, Он, не желая видеть наш грех, окутывает его облаком незнания, ждет от нас слова, как ждал Он его от Адама, скрывавшегося от Него в раю.

Замечательно, что среди всех видов современного знания один лишь психоанализ, который часто обвиняют в унижении человека, сведении его к «подпольным» влечениям, оказывается, пожалуй, принципиально «гуманной» практикой, доверяя в человеке лишь подлинно человеческому — его слову. Не пытаясь «обойти» это слово, заглянуть, используя какие-либо научные или околонучные методы «по ту его сторону», он видит в человеке — прежде всего — словесное существо, словенина, то есть субъект — пусть

бессознательный субъект — слова. Что и позволяет ему постепенно раскрыть, как раскрывает реставратор многократно записанную икону, его первоначальный «красочный слой», изначально запечатленный на нем создателем образ. Помогая человеку претворить живущее в нем бессловесное желание в слово, он дает ему возможность сказать: фаллос, это опредмеченное, объективированное желание, оборачивается логосом, речью.

И симптоматично, что как раз психоанализ кажется нынешнему человеку чем-то все более подозрительным, все более «ненаучным», едва ли не шарлатанским. Современное общество, с его глобальной медицинской и социальной инженерией, с его культом видимости и прозрачности, слишком легко и охотно снимает с человека покровы, лишает его субъектного статуса, обращает его, под любыми благовидными поводами, в предмет беззастенчивых манипуляций. Возвращаясь к уже использованному мною библейскому образу, можно сказать, что это — общество хамское, цивилизация Хама. Неслучайно насельники ада традиционно изображаются обнаженными, тогда как обитатели рая получают одежды: вспомните белые одеяния, которые дают ангелы воскресшим мученикам на полотне Эль Греко. Срывая с человека покров незнания, общество лишает человека богоподобия. Но упраздняя, не признавая его как субъекта, оно поневоле упраздняет и себя самое как человеческое сообщество. Как сообщество, единственной задачей которого должно быть именно культивирование человека как словенина, субъекта слова. Срывая облако незнания, оно обнажает кроющийся под ним срам греха, упраздняет тот «церемониал невинности», «ceremony of innocence», утрату которого великий английский поэт и визионер Йейтс связывает с пришествием антихриста, с концом света. Выведя кляксу, наука получает новую информацию, открывает истину, читает скрытый под пятном текст. Но субъекта за кляксой ей — увы — не найти. Ибо субъект от кляксы этой, от этого «облака незнания», неотделим — ведь он, по сути дела, эта клякса и есть. Выведя кляксу, знание стирает одновременно и скрытый — не за ней, а в ней самой — образ Божий, рассеивает то облако, из которого доносится до нас Его речь. Слова Достоевского, сказавшего, что между истиной и Христом он бы, не сомневаясь, выбрал Христа, на первый взгляд столь абсурдные, становятся тем самым понятны. Это как ложный выбор между жизнью и кошельком: без жизни кошелек не понадобится. Человек вообще может пребывать — а тем более быть человеком — лишь в облаке незнания, со Христом. Предпочтя истину, мы лишимся ее, ибо без Христа-Слова, без покрыва незнания, которое Он любовно простер над нами, нас нет.